

И.И. Бендерский

ИЗОБРАЗИТЬ СРАЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМА ИЗЛОЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОПИСАНИЯ Н.А. ТРОИЦКИМ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

В этой статье я постараюсь в области конкретно-исторической проблематики поставить общеметодологический вопрос: как через повествование репрезентируется историческое событие. Реальную почву историописания дают в данном случае материалы Бородинского сражения, весьма серьёзно разработанные и породившие гигантский пласт повествовательных, в том числе историко-научных текстов. Бородинское сражение является примером исторического события как такового.

В моей работе пока нет места для детальной классификации текстов, повествующих о Бородинском сражении. Однако необходимость учитывать жанровое многообразие и структурную взаимообусловленность самой сферы, в которой живет память об историческом событии, заставляет избегать термина «историография» и подыскивать более общее, применимое к различным жанрам слово, скажем, воспользоваться неологизмом «мнемография» для обозначения совокупной памяти об историческом событии. (Соотношение понятий «история» и «память» ныне является актуальной проблемой методологии исторической науки ¹⁾).

Ранее я уже касался проблемы взаимодействия жанров (историко-научного и романного) внутри единого пространства памяти и в ходе исследований² пришёл к выводу об эпистемологической сопоставимости романа и историографии в плане понимания и изложения истории. Такой вывод заставляет вновь обратиться к повество-

вательным основам историко-научной репрезентации и, в частности, вновь проанализировать претензию на «объективность», которая эксплуатируется историками. Для этого обращусь к известной в отечественной историографии книге, которая в своё время готовилась автором, а затем воспринималась читателями именно в свете определённым образом понимаемой объективистской установки. Историографическим памятником, выбранным мной в качестве материала для анализа, стало повествование Н.А. Троицкого о Бородинском сражении в его книге «1812. Великий год России» (М., 1988).

В историографию Отечественной войны 1812 года Николай Алексеевич Троицкий вошёл, возможно, как излишне бескомпромиссный, жесткий, но, без сомнения, талантливый и адекватный перестроечной эпохе выразитель чувства неудовлетворенности научными результатами советской историографической традиции³. Его видение Бородинского сражения нашло отражение ещё в статье 1987 г.⁴ и с тех пор не претерпело, по сути, концептуальных перемен. Основной тезис нового взгляда на сражение укладывался в формулу: Наполеон одержал победу «формальную» («материальную»), но «нравственная победа» русской армии остаётся бесспорной. Статья 1987 г. была написана ещё в рамках тех формальных правил исторического описания, которые на протяжении многих десятилетий регламентировали порядок изложения истории войны 1812 года. Троицкий по-советски дипломатично отзывался о Кутузове, а также избегал прямых полемических выпадов против своих авторитетных коллег по историографическому цеху.

Однако уже следующий, 1988 г. породил в историографии Бородинского сражения такую стихию, наступления которой официальная историография пережить не смогла. Наступила гласность. Маски были сброшены, идеологические формальные отписки уступили место бурным общественным страстям, не преминувшим хлынуть и в науку.

Полномасштабной и научно оформленной «перестройкой» взглядов на войну 1812 года стал главный труд Н.А. Троицкого «1812. Великий год России». Впервые советский читатель получил долгожданную «ложку дегтя». С 1990-х годов – в чём-то и по сию пору – монография Троицкого служит научной базой для восприятия тех событий авторами десятков вузовских и школьных учебников и учебных пособий, что наложило отпечаток на историческое сознание гуманитарно-образованной части нашего народа.

Для специалистов очевиден ответ на вопрос о том, как быстро устарели взгляды Н.А. Троицкого⁵. Та коллективная работа, которую проделали ведущие отечественные и некоторые зарубежные историки в последние два десятилетия, изменила актуальные научные представления о войне 1812 года. Труды Н.А. Троицкого уже успели стать историографической архаикой, продолжая, однако, по инерции функционировать в сознании отечественных гуманитариев, мало знакомых с достижениями новейшей историографии.

В задачи данной статьи не входит доскональный обзор исторической проблематики воззрений Н.А. Троицкого, но, взяв описание Бородинского сражения в качестве примера, я обращаюсь к проблеме механизмов изложения исторического события.

Первая сложность, с которой сталкивается учёный, повествуя об историческом событии, это проблема сопряжения рассказа и исследования. Особенность повествовательного текста историка в том, что он конструируется обычно двумя способами: простой рассказ (действительность прошлого выступает сама по себе, в своей наглядной очевидности) и критика, разрушающая цельность рассказа чередой вопросов и ответов. Перо повествователя постоянно переходит с плана рассказа на план критики и обратно.

Именно в плане критики Троицкий реализовал амбициозную стратегию переосмысления советской традиции, в чём выразился курс на «объективность» в противовес «лжепатриотическим» трактовкам советских историков. Причём следует отметить, что по самой структуре план критики у Троицкого легко отделим от плана рассказа: и то и другое сосуществует в тексте как относительно автономные реплики.

«Паразитарное» существование критики по отношению к рассказу – неизбежное следствие специфики научно-исторического повествования. Однако в 1990-е годы в процессе реконструкции представлений о Бородинском сражении на первое место вышел тот тип повествования, при котором критика стала более деятельной соучастницей рассказа, всё чаще вторгаясь в его живую ткань со своими вопросами и поисками ответов на них. Механизм образования текста, который можно назвать «кодом сюжетных загадок», как бы «сшил» два плана исторического повествования: рассказ и критику. На уровне структуры повествования такая сопричастность стала одной из характерных особенностей постсоветской историографии

Бородинского сражения – в отличие от советской историографии с её автономией рассказа (в этом смысле Н.А. Троицкий ещё остался представителем советской историографической традиции). Такая сопричастность планов критики и рассказа сделала более ответственными по отношению к исторической достоверности тексты В.Н. Земцова, А.И. Попова, Л.Л. Ивченко и А.А. Васильева.

Для выявления механизмов изложения истории имеет смысл обратиться к уровню рассказа, не забывая, конечно же, и о существовании критического контекста. В монографии Н.А. Троицкого «1812. Великий год России» Бородинскому сражению посвящена отдельная глава (гл. 5, с. 136–182). Глава имеет свою обозначенную автором структуру – три неравных раздела: «Накануне», «День Бородина» и «Итоги». В первых двух критика историка «паразитирует» на рассказе, то прерывая его, то растворяясь в нём. Третий раздел по своему предназначению аналитичен, повествовательные элементы в нём фрагментарны и подчинены аналитическим задачам, поэтому я не буду его касаться.

Уже сама композиция разделов анонсирует тему Бородинского сражения в её самостоятельной сюжетной притягательности. «Предвкушения рассказчика» Троицкий не скрывает, о чём говорят названия разделов главы: «Накануне», «День Бородина». Событие «присится» быть рассказанным вне прямой зависимости от того, какую роль оно сыграло в войне 1812 года.

Следует отметить два обстоятельства. Во-первых, подобная мотивационная пружина презентации исторического факта чаще всё же не является результатом сознательного выбора историка (тут речь, скорее, идет о силе самого сюжета). Определённая «зачарованность» сюжетом характеризует все поколения исследователей войны 1812 года – от Ахшарумова и Михайловского-Данилевского до современных авторов. Но, во-вторых, в случае с работой Троицкого обозначенный механизм был сознательно усилен автором, который преследовал эстетические цели в стремлении сделать свой рассказ более ясным и красочным для широкой читательской аудитории.

Своеобразие повествовательной манере Троицкого придаёт очень любопытная комбинация: сочетание «объективистского» характера критики с парадно-патриотической семантикой рассказа, семантикой, которая даже выглядит несколько стилизованно. Уже сам эпиграф – пушкинская строка «И равен был неравный бой» – в сочетании с выводом о численном превосходстве русских при Бородине⁶

вводит нас в состояние диссонанса логики и поэтики повествования. Каждая фраза историка с головой выдаёт семантический мир, в котором он пребывает. Достаточно взять хотя бы первое предложение главы о Бородинской битве:

«Позиция, в которой я остановился при деревне Бородино... – донесил М.И. Кутузов царю 4 сентября, – одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно...»⁷.

За типичной фразой стоят целые своды повествовательных структур.

Во-первых, код действия конструирует буквальный смысл. Элементы этого кода: актанты (в данном случае Кутузов, а подразумевается и вся русская армия), функции фабулы (т.е. чистые события; в данном случае – «остановиться на позиции»), индексы (пространственные: д. Бородино и временные: 4 сентября). Актанты, функции и индексы образуют наиболее бесстрастный, чистый, если угодно – «объективный» слой исторической репрезентации. Так излагается факт: 23 августа / 4 сентября русская армия под руководством М.И. Кутузова заняла позицию при с. Бородине.

Во-вторых, в предложении задействован механизм сюжетных загадок («герменевтический код» в терминологии Р. Барта). Имеется в виду та цепочка вопросов и ответов, которую автор заставляет выстраивать читателя, всё время что-то утаивая, а затем обнаруживая. В данном случае анонсируется проблема «хорошей» или «плохой» позиции при с. Бородине, которая будет развиваться далее.

В-третьих, манифестируется определённый тип «истины». Работает своеобразный диспетчер, который переключает внимание читателя указанием на источники тех или иных ценностей (знания, морали, красоты). Всякое повествование кодифицирует ту или иную «истину»: это может быть психологическая достоверность, натурализм или пророческое откровение. Очевидно, что жанр исторического исследования эксплуатирует истину исторической науки, научность. В данном случае повествование фактом цитирования донесения Кутузова манифестирует свою «документальность».

Наконец, в-четвёртых, любое повествование неизбежно приводит в движение механизм семантического накопления. Я понимаю под этим «привкус» коннотации, который оседает на языке пишущих и читающих. Это семантические комплексы, выстраивающиеся за буквальным значением фраз. Ведь реальное повествование не знает «чистых и бесстрастных» значений. Актанты, индексы и

функции никогда не бывают «чистыми»: нет бесстрастного, для всех однозначно понятного и прозрачного смысла слов «Наполеон», «Кутузов», «Бородино», но любое из этих имён «чревато нечаянным смыслом». Так, имя «Наполеон» для его матери обладало всё же несколько иным смыслом, чем для Кутузова, современный же историк, услышав это имя, прежде всего считывает «наполеоновскую легенду», хотя в каждом случае буквальное значение меняться не будет, ибо речь идет о конкретном человеке, о Наполеоне, а не об одноимённом торте или коньяке. За каждым именем встаёт история, в том числе личностного принятия или непринятия тех или иных смыслов. Каждое прочтение по-своему конфигурирует семантическое пространство имени, фразы, наконец, целого текста. Мечта об «объективной репрезентации» рушится.

Даже такой простой временной индекс – «4 сентября» – уже означает не только объективную временную координату, но является результатом по-своему мотивированного выбора: историк ведет отсчёт дат по новому стилю, а не по-старому. Сама ситуация словоупотребления влечёт за собой неизбежность семантического отбора. Скажем, Троицкий пишет, доносил «царю», а не «императору»: в контексте левых взглядов историка такая номинация не кажется случайной.

Закончив цитировать Кутузова, Троицкий начинает авторский текст словами: «Выбор позиции генерального сражения всегда считался важным условием победы. Наполеон говорил, что вообще "война – это мастерство позиции"»⁸. Очевиден переход с плана рассказа в план критики. Этот план уловим в двух вариациях: критика факта (т.е. установление истинности того или иного факта) и объяснение факта (т.е. встраивание факта в цепь размышлений). В данном случае мы имеем дело с объяснением факта. Троицкий теоретизирует на тему «выбор позиции в сражении». Манифестируется даже не историческая наука; повествование заговорило голосом «военного искусства», который утверждает себя с помощью явного трюизма, избыточного как в повествовательном, так и в критическом плане. Подлинная цель фразы не подчеркнуть «важность выбора позиции», а утвердить статус дискурса, заговорив с читателем от лица знания и науки.

Современная историография не столь грешит трюизмами из области «теории военного искусства». Те справки из регистра «военного дела», которые даются современными исследователями, обычно содержат сугубо конкретные терминологические объяснения.

Впрочем, свойственное некоторым современным исследователям стремление установить терминологический диктат и перелицевать определённые орфографические и лексические нормы (скажем, написание иностранных имён)⁹, в свою очередь, также стало тактикой самоутверждения научного дискурса.

Были названы четыре кода, благодаря которым можно опознать основные семантические единицы повествовательного текста. Конечно же, не следует абсолютизировать приведённую классификацию и терминологию, навеянную структуралистской традицией¹⁰, она была использована чисто инструментально, чтобы вскрыть поверхностную однозначность текста, показать многообразие семантического мира, который таится за каждой фразой исторического повествования. Но каким образом историческое повествование достигает своей цели, становится изобразительно доступным? Для того чтобы лучше понять природу изобразительной наглядности исторического повествования, приведу рассказ Троицкого о завершении боя за Шевардинский редут:

«Только к полуночи дивизия Ж.Д. Компана из корпуса Даву после ужасной резни в ночном мраке и пороховом дыму ворвалась на валы редута. "Мы вошли в редут сам не знаю как – вспоминал об этой атаке герой рассказа П. Мериме «Взятие редута» – Там мы дрались в рукопашную среди такого густого дыма, что не видели противника". Горчаков оставил редут по приказу Кутузова, выиграв необходимое время. "Поздно ночью, – пишет академик Е.В. Тарле, – кончился этот бой, настолько неравный, что французы понять не могли, как он мог так долго продолжаться".

Шевардинский бой стал своеобразным прологом Бородинской битвы, каждая сторона могла быть довольной итогами этого боя и в то же время оценить силу противника»¹¹.

Бросается в глаза полифоничность: к конструированию рассказа о Шевардинском бое привлечены П. Мериме и Е.В. Тарле, да и сам голос автора не тождественен себе: рассказчик первый раз выступает летописцем деяний Великой армии, затем – летописцем русской стороны и, наконец, в последнем предложении отрывка переходит на уровень критики и выступает как ритор, подводя «поэтический» итог, усиленный приемом символизации (Шевардинский бой как пролог...). Наглядность, доступность изображения достигается при максимальном приближении к агенту действия (актанту). Конец боя дан с точ-

ки зрения французских солдат из дивизии Компана, здесь ключевую роль играет цитата из художественного произведения¹². Изменился масштаб рассмотрения, изображение стало более устойчивым, не расплывающимся в контексте общей картины противостояния.

Ключевую роль в деле «изображения прошлого» играет механизм замещения. Это уже не риторический троп, а магическая метонимия, с помощью которой текст замещает реальность прошлого. Через фразы, утверждения, обороты, цитаты повествование замещает, представляет, т.е. в точном смысле репрезентирует, реальность прошлого. Благодаря связанной цепи образов рассказ замещает непосредственное видение, т.е. опыт очевидца. Появляется изображение.

Замещение работает и в логическом поле: развёрнутые версии событий замещены формулировками историка. Причём в данном случае не обошлось без логических ошибок. В приведённом отрывке сплетены воедино две взаимоисключающие версии: французская версия о конечном взятии редута в результате жестокого ночного штурма «мирно сосуществует» с русской версией о его добровольном оставлении по приказу Кутузова.

Изобразительные задачи требуют ясной фокусировки образов. Невнимание к противнику – весьма распространённый грех национальных историографий. В изображении битвы очень часто конкретизированы, названы по имени лишь действующие субъекты одной стороны (полки, дивизии, генералы, точная численность солдат), а сторону противника представляют неопределённые множества («французы», «войска», «силы» и т.п.). Троицкий взял за правило одинаково подробно представлять силы обеих сторон, хотя бы до масштаба дивизий у него обычно точно показаны и те, и другие. Именно в этом смысле «качество изображения» в книге Троицкого оказалось выше, чем в предшествовавшей ему советской историографии.

Как и роман, историческое повествование стремится упорядочить своё семантическое содержание. Поэтому в текстах историков, как и в текстах писателей, работает «механизм распределения», конструирующего образную архитектуру текста. В рассказе о Швардинском бое любопытно проявилось желание автора установить своеобразный баланс между русскими и французами. Французам досталось право переживания боя, т.е. его эмоциональное содержание, а русским – его логика. «Ужасная резня в ночном пороховом дыму»

видится глазами солдат Компана, а вот расчётливое отступление даётся сквозь призму планов Кутузова.

На концептуальном уровне такая балансировка порождает следующие свойственные повествованию Троицкого пары: просчёты «кутузовского штаба» и героический «простой русский солдат», «материальная» победа французов при Бородине и «моральная» победа русских, «плюсы» и «минусы» в оценке Бородинской позиции.

Н.А. Троицкий с охотой включал в повествование патетическую тему наполеоновской легенды: рассказ о сражении 26 августа / 7 сентября начинается с указания на то, как перед атакой французы приветствовали своего императора кличем «Vive l'Empereur!», и какой страх обычно вызывал этот грозный клич в стане противников. Однако в отличие от многих современных авторов, Николая Алексеевича нельзя упрекнуть в том, что он бессознательно находился под влиянием наполеоновской легенды. Её культурный код сознательно использован историком в качестве изобразительно-го приема, преследующего совершенно иные содержательные цели: в данном случае грозность и величие наполеоновской армии подчёркиваются только для того, чтобы оттенить героизм русских войск.

Метонимический механизм, благодаря которому противоречивая и своевольная фактичность свёртывается в послушные рассказу последовательности, может сыграть злую шутку. Хотя ирония в том, что с точки зрения тех способов репрезентации, которых придерживался Троицкий, приводимый ниже рассказ о начале сражения вовсе неплох:

«С невероятной быстротой» французы атаковали не левое, как предполагал штаб Кутузова, а правое крыло русской позиции. 106-й полк из дивизии генерала А.-Ж. Дельзона (корпус Е. Богарне) ворвался в Бородино. Стоявший здесь русский полк гвардейских егерей не был застигнут врасплох. Разгорелся "наикровопролитнейший бой". Богарне слал Дельзону подкрепление за подкреплением. К 6 часам утра французы овладели Бородином, хотя их 106-й полк потерял три четверти состава. Погиб и командир полка генерал Л.-О. Плезонн, открыв собою длинный реестр французских генералов, павших у Бородина».

Два-три мазка, которые историк бросил на полотно своего повествования, в общем-то, рисует достаточно яркий образ начала великого сражения. Первое предложение создаёт ситуацию сюжетной неожиданности и суггестивно отсылает к трактовке битвы как поединка двух личностей. Троицкий достигает изобразительной чётко-

сти: в центре внимания полк с русской стороны и полк с французской (но указан и более широкий контекст атаки). О документальности повествования свидетельствуют цитаты; наконец, основные факты соответствуют исторической действительности: названные части французской армии действительно рано утром атаковали Бородино, сражались с русскими гвардейскими егерями, овладели деревней, Плезонн погиб, а 106-й полк потерял большую часть состава.

Однако с точки зрения более взыскательных требований к достоверности повествования, характерных для современной историографии, историческая действительность в приведенном отрывке переврана «от и до».

Во-первых, штаб Кутузова не держал бы на правом фланге столь серьёзные силы, если б «не предполагал» вражеской атаки, направленной против него. Во-вторых, судя по всему, именно «врасплох» русских егерей и застала атака дивизии Дельзона¹³, но это было не следствием просчётов кутузовского штаба, а результатом простой халатности офицеров полка, «проспавших» начало атаки. Картина эффективной обороны, которая создаётся благодаря оборотам в духе «не были застигнуты врасплох» и «Богарне слал Дельзону подкрепление за подкреплением», в целом не соответствует действительности. Бой за деревню для русских егерей был скорее суматошной попыткой дать отпор «свалившемуся на голову» превосходящему врагу: только отчаянное мужество рядовых и энергия спохватившихся командиров спасли егерский отряд от полного уничтожения. В третьих, из рассказа Троицкого следует, что 106-й полк был перемолот в борьбе за деревню, в действительности же разгром французского полка и гибель бригадного генерала Плезонна последовали после взятия деревни, когда 106-й полк перешёл речку Колочу и был опрокинут контратакой егерских полков.

В контексте модели повествования, реализованной Троицким, всё перечисленное можно назвать «нюансами», однако именно такие «нюансы» современные микроисторические исследования ставят в фокус познания и повествования, именно такая фактичность предъясняет своему историку требования точности, ясности и адекватности в построении рассказа.

Нет нужды перечислять все те «нюансы», в которых описание Троицким Бородинского сражения искажает историческую действительность в том смысле, в каком она воссоздаётся современной наукой.

Однако нельзя не указать на те концептуальные и повествовательные комплексы, которые придали рассказу Троицкого изобразительную притягательность и историографическую значимость.

Выше уже упоминались те критические новации, которыми ознаменован вклад Н.А. Троицкого в историографию темы. И пусть даже некоторые пункты его труда уже не выдерживают критики (заниженная оценка французских потерь, мнимое решение вопроса о потерях русской армии, устаревшая хронометрия сражения и многое другое), зато иные темы и вопросы, на которых заострил внимание Троицкий, по-прежнему остаются в центре внимания: манёвр Наполеона в ночь на 7 сентября / 26 августа, позволивший ему превосходящими силами атаковать левое крыло русской армии; планы и возможные просчёты Кутузова; наконец, ключевой вопрос – почему же наполеоновские войска не сумели сломить сопротивление русской армии. И не то чтобы Троицкий внёс какие-то совершенно новые трактовки в решение этих вопросов, ведь основной арсенал возможных толкований был перебран ещё дореволюционной историографией. Но концептуальный вклад Троицкого в том, что он вновь сделал все эти темы дискуссионными и актуальными, используя первую же возможность, попытался свободно мыслить, его работа стала глотком свежего воздуха в советской историографии.

Уже упомянув о тех эпистемологических опасностях, которые таит задача повествования для историка, о тех «нечаянно» пролезающих смыслах, способных подорвать объективность текста, нельзя не сказать (смысловая балансировка должна спасти и меня от однобокости) о тех моментах, в которых рассказ протягивает руку помощи науке¹⁴.

Троицкому действительно удалось повысить «качество изображения». То, что всеу подчас называли «объективностью», гораздо точнее поддаётся пониманию с точки зрения оценки качества рассказа. Агенты действия, русские и французы, были одинаково масштабированы как минимум до дивизий, а сами действия противников, Кутузова и Наполеона, командиров корпусов и дивизий, в рассказе историка ясно и чётко взаимообусловлены.

Повествование выстроено в соответствии с динамикой боя, причём основные эпизоды сражения поданы ярко, система образов хорошо запоминается. Кстати, в сравнении с остальными главами книги именно в рассказе о Бородинском сражении эта образность содержит минимум модернизаторских идеологических подоплёк (к таким

подоплёкам относятся марксистско-ленинские штампы о «царском режиме», «народных массах» и пр.), но, напротив, наделена эстетическим осмыслением, подчас очень верным психологически и, как следствие, исторически. Отсылки к Мериме, Пушкину, Верещагину, Виктору Гюго, Лермонтову, наконец, ко Льву Толстому не только открыто эксплицируются в тексте историка, но также и внутренне заключены в позицию повествователя: история сражения считывается, осмысляется и излагается через призму хорошего образования (хотя, конечно, очень «советского»).

Работа над семантической традицией позволяет не только насытить образами рассказ, но и решить чисто исследовательские задачи. Именно так Троицкий отвечает на основной вопрос: почему же русские выстояли под Бородином. «Хрестоматийные» примеры самопожертвования русских солдат и командиров, подкреплённые выработанными традицией риторическими фигурами¹⁵ обосновывают ключевой вывод: «охваченные патриотическим энтузиазмом», русские войска именно благодаря силе духа, вопреки ошибкам собственного штаба, вопреки искусству и доблести врага, выстояли и сорвали планы Наполеона¹⁶. Вывод этот в равной мере и обосновывается, и иллюстрируется соответствующей оценкой Льва Толстого.

Точно так же на уровне рассказа и его семантических подтекстов решается и вопрос, почему Наполеон не ввёл в бой гвардию. Здесь Троицкий показывает психологическую неуверенность Наполеона в успехе (знаменитое: «За 800 лье от Франции нельзя рисковать последним резервом»), причём такая неуверенность перекликается с общим образом морального истощения, которое постигло французов к концу сражения. Причём, судя по внутренней позиции рассказчика, сам Троицкий также не ждал от атаки гвардии кардинального успеха для французов¹⁷.

Критическая новизна, лёгкость изложения и образность, риторическое обрамление, сознательное вплетение исторического описания в эстетическую традицию – всё это обеспечило читательский успех книги Троицкого, определило её мнемографическую судьбу.

Как выявили позднейшие исследования, эта повествовательная ясность, увы, не может быть подкреплена столь же несомненной опорой на показания источников. Современные историки намеренно стараются избегать «риторики», а также по возможности игнорируют традицию эстетического осмысления, охраняя тем самым «стерильность» изучаемой эпохи. Однако такой подход к исторической

репрезентации порождает иные фантомы «объективности» и новые формы методологической наивности. Хотя работы современных специалистов сложно переоценить в исследовательском плане, но связность, ясность и непротиворечивость рассказа никак нельзя отнести к достоинству отечественной постсоветской историографии (достижения таких зарубежных авторов, как, например, Д. Ливен и отчасти А. Замойский, оставим пока за скобками).

Повествование историка, особенно если это повествование имело читательский успех, в каком-то смысле обретает независимость от личности автора. Оно обладает той вещностью, какой обладает картина, написанная художником. Повествование всегда выражает то, что, говоря языком классической гносеологии, соединяет «объект» с «субъектом». Повествование выражает сам взгляд. Этот зафиксированный в тексте «взгляд» позволяет читателю увидеть то изображение, которое однажды удалось сконструировать историку. В годы перестройки историческая память жила в более глубоких образах, врезалась в сознание яркими, искрящимися красками.

Пристальное внимание к смысловой и повествовательной структуре исторического текста позволяет яснее представить процесс выведения туманного прошлого в изобразительную наглядность рассказа; выявление тех смысловых структур, которые участвуют в этом процессе, способствует тренировке собственно исторического зрения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., напр.: *Ле Гофф Ж.* История и память. М., 2013; *Мегилл А.* Историческая эпистемология. М., 2007. С. 91–169.

² См.: *Бендерский И.И.* Миссия Балашова и Лев Толстой // *Новый мир.* 2011. №11. С. 116–129; *Он же.* Лев Толстой в контексте актуальных вопросов изучения Бородинского сражения // «Сей день прибудет вечным памятником...» Материалы междунар. науч. конф., 3–7 сентября 2012 г. Можайск, 2013. С. 608–621.

³ Основные взгляды Н.А. Троицкого на советскую историографическую традицию изучения Отечественной войны 1812 года выражены в монографиях: *Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. М., 1988; *Он же.* Отечественная война 1812 г.: История темы. Саратов, 1991; *Он же.* Фельдмаршал Кутузов: Мифы и факты. М., 2003. Также можно ознакомиться с взглядами саратовского профессора, прочитав его статьи: *Троицкий Н.А.* Кладезь ошибок: О книге О.В. Орлик «Гроза двенадцатого года». // *В мире книг.* 1988. №4. С. 86–87; *Он же.* Рец. на книгу: *Абалихин Б.А., Дунаевский В.А.* 1812

год на перекрёстках мнений советских историков, 1917–1987. М., 1990 // Отечественная история. 1992. № 2. С. 195–197.

⁴ *Троицкий Н.А.* День Бородина // Знамя. 1987. №8. С.195–206.

⁵ Хлесткую критику историографической позиции Троицкого см., напр.: *Попов А.И.* Отечественная война 1812 года: «новые открытия» и псевдопроблемы // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XV междунар. науч. конф. Бородино, 9–11 сентября 2008 г. Можайск, 2009. URL: <http://www.borodino.ru/index.php?page=toread&type=vi ew&DocID=50455> (дата обращения 09.02.2014)

⁶ Хотя у Н.А. Троицкого и были предшественники, однако именно ему удалось утвердить представление о численном превосходстве русских. Данные о численности русской армии со времени Троицкого изменились не сильно. В энциклопедии «Отечественная война 1812 года» (М., 2004) говорится о «150 тысячах человек в русской армии при 624 орудиях» (113–114 тыс. регулярных войск, 8 тыс. казаков и 28 тыс. ополченцев), что не столь существенно отличается от данных Троицкого (115 302 человека регулярных войск, 11 тыс. казаков, 28,5 тыс. ратников ополчения, 640 орудий). См.: Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2004. С. 80; *Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. С. 141.

⁷ *Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. С. 136.

⁸ Там же.

⁹ Чего стоит один только «маршал Мюра» В.Н. Земцова и А.И. Попова или «Боарне» последнего.

¹⁰ Понятие повествовательного кода заимствовано из работ Ролана Барта «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» и «S/Z»; сам французский философ не настаивал на терминологической точности используемых и развиваемых им от работы к работе понятий. См.: *Барт Р.* Нулевая степень письма: Пер. с фр. М.: Академ. проект, 2008; *Он же.* S/Z: Пер. с фр. М.: Академ. проект, 2009.

¹¹ *Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. С. 139–140.

¹² Можно признать этот приём Троицкого удачным примером использования художественного слова в историческом повествовании. Рассказ «Взятие редута» с точностью репрезентирует живой опыт штурмовавших редут французов (идентификации поддаются даже военная часть и конкретные личности). Мериме демонстрирует здесь такое мастерство репрезентации чужого опыта, которое роднит его со Стендалем в «Пармской обители» и предвосхищает изобразительную силу прозы Льва Толстого.

¹³ Бой за с. Бородино в основных моментах обстоятельно изложен А. И. Поповым; в частности, историк приводит свидетельства оплошности командира 3-го батальона лейб-гвардии Егерского полка Макарова, которого после сражения обвиняли в том, что он напился и не смог реально командовать батальоном, первым принявшим удар врага. Впрочем, ситуация с пьянством Макарова всё же до конца не прояснена. В рассказе А.И. Попова сначала говорится (посредством цитат) о том, что именно Макаров донёс о наступлении французов заблаговременно, а затем посредством других цитат – что Макаров был вдрызг пьян. Примирить противоречие в используемых источниках историк не торопится (признание неполноты одного из

источников не помогает Попову решить проблему достоверности тех показаний, которые в нём есть). Налицо тот же изобразительный сбой, что и у Троицкого в описании Шевардинского боя. См.: *Попов А.И.* Бородино: Северный фланг. М., 2008. С. 18–35.

¹⁴ Хайден Уайт видел в построении сюжета один из трёх способов достичь «эффекта объяснения» в историческом тексте. Двумя другими были «формальное доказательство» и «идеологический подтекст». Не разделяя эпистемологической капитуляции, которой венчается труд великого американского методолога, не могу не согласиться, что выявленные им механизмы проявляются не только в «больших нарративах», которым посвящена «Метаистория», но и в таких локальных дискурсах, как историография Бородинского сражения. См.: *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 2002. С. 17–18.

¹⁵ «М.Б. Барклай де Толли в полной парадной форме, при всех орденах и звёздах и в шляпе с султаном, лично водил полки в атаки и контратаки. "С ледяным хладнокровием, которого не мог растопить и зной битвы, – вспоминал о нём Ф.Н. Глинка, – втеснялся он в самые опасные места". Пять лошадей были убиты в тот день под Барклаем, погибли или вышли из строя ранеными 9 из 12 его адъютантов. "У него не иначе как жизнь в запасе!" – воскликнул, наблюдая за ним, М.А. Милорадович. Впрочем, сам Милорадович тоже сражался при Бородине "не щадя живота своего", как не щадили себя П.И. Багратион и Д.С. Дохтуров, Н.Н. Раевский и П.П. Коновницын, А.П. Ермолов и А.И. Остерман-Толстой» (*Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. С. 157.)

¹⁶ «Впрочем, если бы даже Кутузов допустил под Бородином ещё больше ошибок, а Наполеон действовал безошибочно, всё равно французы вряд ли могли рассчитывать на лучший для них исход, ибо дело здесь не столько в Кутузове и Наполеоне, сколько в русском солдате». (*Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. С. 181.) Думаю, что в цехе передовых современных исследователей подобная риторика уже попросту немислима.

¹⁷ Указание на то, что русские готовились к атаке гвардии, что в конце боя стояли так же твёрдо, как и в начале, свидетельствует, при отсутствии критических комментариев к решению Наполеона не вводить в дело гвардию, именно о таком отношении автора к данному вопросу. См. *Троицкий Н.А.* 1812: Великий год России. С. 171–172.